

ДУРАК

П оутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в 9-м часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8 часов, потому что у него есть спешные дела, запер дверь номера и, пошумев ножом и вилокю, пошумев чайным прибором, скоро притих, — видно, заснул. Пришло утро; в 8 часов слуга постучался к вчерашнему приезжему — приезжий не подает голоса; слуга постучался сильнее, очень сильно — приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал четверть часа, опять стал будить, опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. «Уж не случилось ли с ним чего?» — «Надо выломать двери». — «Нет, так не годится: дверь ломать надо с полициею». Решили: попытаться будить еще раз, посильнее; если и тут не проснется, послать за полициею. Сделали последнюю пробу; не добудились; послали за полициею и теперь ждут, что увидят с нею.

Часам к 10-ти утра пришел полицейский чиновник, постучался сам, велел слугам постучаться, — успех тот же, как и прежде. «Нечего делать, ломай дверь, ребята».

Дверь выломали. Комната пуста. «Загляните-ко под кровать» — и под кроватью нет проезжего. Полицейский чиновник подошел к столу, — на столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано:

«Ухожу в 11 часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между 2-мя и 3-мя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

— Так вот оно, штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить, — сказал полицейский чиновник.

— Что же такое, Иван Афанасьевич? — спросил буфетчик.

— Давайте чаю, расскажу.

Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода.

В половине 3-го часа ночи — а ночь была облачная, темная — на середине Литейного моста сверкнул огонь, и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие, — никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять, притащили через несколько времени багры, притащили даже какую-то рыбацкую сеть, ныряли, нащупывали, ловили, поймали полсотни больших щеп, но тела не нашли и не поймали. Да и как найти? — ночь темная. Оно в эти два часа уж на взморье, — поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение: «А может быть, и не было никакого тела? может быть, пьяный, или просто озорник, подурачился, — выстрелил, да и убе-

жал, — а то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе да подсмеивается над тревогою, какую наделал».

Но большинство, как всегда, когда рассуждает благо- разумно, оказалось консервативно и защищало старое: «какое подурачился — пустил себе пулю в лоб, да и все тут». Прогрессисты были побеждены. Но победившая партия, как всегда, разделилась тотчас после победы. Застрелился, так; но отчего? «Пьяный», — было мнение одних консерваторов; «промотался», — утверждали дру- гие консерваторы. — «Просто дурак», — сказал кто-то. На этом «просто дурак» сошлись все, даже и те, которые отвергали, что он застрелился. Действительно, пьяный ли, промотавшийся ли застрелился, или озорник, вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, — все равно, глупая, дурацкая штука.

На этом остановилось дело на мосту ночью. Поутру, в гостинице у Московской железной дороги, обнару- жилось, что дурак не подурачился, а застрелился. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные, именно, что если и не по- шалил, а застрелился, то все-таки дурак. Этот удовлет- ворительный для всех результат особенно прочен был именно потому, что восторжествовали консерваторы: в самом деле, если бы только пошалил выстрелом на мосту, то ведь, в сущности, было бы еще сомнитель- но, дурак ли, или только озорник. Но застрелился на мосту, — кто же стреляется на мосту? как же это на мосту? зачем на мосту? глупо на мосту! — и потому, несомненно, дурак.

Опять явилось у некоторых сомнение: застрелился на мосту; на мосту не стреляются, — следовательно, не застрелился. — Но к вечеру прислуга гостиницы была позвана в часть смотреть вытащенную из воды про- стреленную фуражку, — все признали, что фуражка та

самая, которая была на проезжем. Итак, несомненно застрелился, и дух отрицания и прогресса побежден окончательно.

Все были согласны, что «дурак», — и вдруг все заговорили: на мосту — ловкая штука! Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить, — умно рассудил! от всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится, — да, на мосту... умно!

Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать, — и дурак, и умно.

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ДУРАЦКОГО ДЕЛА

В то же самое утро, часу в 12-м, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую.

«Мы бедны, — говорила песенка, — но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд обогатит нас, — это дело пойдет, — поживем, доживем —

Ça ira
Qui vivra, verra¹.

Мы грубы, но от нашей грубости терпим мы же сами. Мы исполнены предрассудков, но ведь мы же сами страдаем от них, это чувствуется нами. Будем искать счастья, и найдем гуманность, и станем добры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся — и обогатимся; будем счастливы — и будем братья и сестры, — это дело пойдет, — поживем, доживем.

¹ Дело пойдет,
Кто будет жить, увидит (*фр.*).

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить,
будет рай на земле. Будем же веселы жизнью, — это
дело пойдет, оно скоро придет, все дождемся его, —

Donc, vivons,
Ça bien vite ira,

Ça viendra,
Nous tous le verrons»¹.

Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая, — было в ней две-три грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, — по крайней мере, должны были покрываться, исчезать, — и исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа; но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других, она как будто встрепетается, заметив это, понизит на них голос и сильнее начнет петь веселые звуки, их сменяющие, но вот она опять унесется мыслями от песни к своей думе, и опять грустные звуки берут верх. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти; только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как ни отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня, становится ли опять весела, как ей следует быть, дама шьет очень усердно. Она хорошая швея.

В комнату вошла служанка, молоденькая девушка.

— Посмотрите, Маша, какво я шью? я уж почти кончила рукавчики, которые готовлю себе к вашей свадьбе.

¹ Итак, живем,
Оно скоро придет,
Оно придет,
Мы его увидим (фр.).

— Ах, да на них меньше узора, чем на тех, которые вы мне вышили!

— Еще бы! Еще бы невеста не была наряднее всех на свадьбе!

— А я принесла вам письмо, Вера Павловна.

По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо: на конверте был штемпель городской почты. «Как же это? ведь он в Москве?» Она торопливо развернула письмо и побледнела; рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так, я не успела прочесть, в письме вовсе нет этого!» И она опять подняла руку с письмом. Все было делом двух секунд. Но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели, письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик, она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала! Что я наделала!» — и опять рыданье.

— Верочка, что с тобой? разве ты охотница плакать? когда ж это с тобою бывает? что ж это с тобой?

Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату.

— Прочти... оно на столе...

Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша.

Молодой человек взял письмо; и он побледнел, и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо, хотя оно было не велико, всего-то слов десятка два:

«Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте; я так люблю вас обоих, что очень счастлив своею решимостью. Прощайте».

Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом стал крутить усы, потом посмотрел на рукав своего пальто; наконец он собрался с мыслями. Он сделал

шаг вперед к молодой женщине, которая сидела по-прежнему неподвижно, едва дыша, будто в летаргии. Он взял ее руку:

— Верочка!

Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его:

— Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! я уйду от тебя! Я уйду! отойди от меня! — И она отталкивала, все отталкивала пустой воздух и вдруг пошатнулась, упала в кресло, закрыла лицо руками.

— И на мне его кровь! На мне! Ты не виноват — я одна... я одна! Что я наделала! Что я наделала!

Она задыхалась от рыдания.

— Верочка, — тихо и робко сказал он, — друг мой!..

Она тяжело перевела дух и спокойным и все еще дрожащим голосом проговорила, едва могла проговорить:

— Милый мой, оставь теперь меня! Через час войди опять, — я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди!

Он повинился молча. Вошел в свою комнату, сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем, взял опять перо... «В такие-то минуты и надобно уметь владеть собою; у меня есть воля, — и все пройдет... пройдет»... А перо, без его ведома, писало среди какой-то статьи: «перенесет ли? — ужасно, — счастье погибло»...

— Милый мой! я готова, поговорим! — послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд.

— Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело. Но еще тяжеле было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.

— Верочка, чем же ты виновата?

— Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я, я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя, — и для меня, мой милый, тоже! Но я не могу поступить иначе, ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи; на эти деньги я могу прожить несколько времени, — где? в Твери, в Нижнем, я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения; вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться; но если буду, обращусь к тебе; позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня; ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа; я не могу обойтись без этого. Слышишь? я не отказываюсь от твоей помощи! пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты остаешься мил мне... А теперь, простимся навсегда! Отправляйся в город... сейчас, сейчас! мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь — тогда возвращайся. Я еду в Москву, там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки. Запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый, дай руку на прощанье, в последний раз пожму ее.

Он хотел обнять ее, — она предупредила его движение.

— Нет, не нужно, нельзя! Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее — видишь, как крепко! Но прости!

Он не выпускал ее руки из своей.

— Довольно, иди. — Она отняла руку, он не смел противиться. — Прости же!

Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него уходя.

Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный; наконец понял, что это под рукою у него именно шляпа, которую он ищет, вышел в переднюю, надел пальто; вот он уже подходит к воротам: «кто это бежит за мною? верно, Маша... верно, с нею дурно!» Он обернулся — Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала.

— Нет, не утерпела, мой милый! Теперь прости навсегда!

Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина, — это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха», — говорит читательница.

— Это правда, — говорю я.

Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, — ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины; он говорит, — читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею, — читатель говорит: «я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился». Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут; сам ты ничего не знаешь, не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, — правда? — ну, так знай же.

Да, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь

различить, будет ли содержание повести стоить того, чтобы прочесть ее, у тебя плохое чутье, оно нуждается в пособии, а пособий этих два: или имя автора, или эффектность манеры. Я рассказываю тебе еще первую свою повесть, ты еще не приобрела себе суждения, одарен ли автор художественным талантом (ведь у тебя так много писателей, которым ты присвоила художественный талант!), моя подпись еще не заманила бы тебя, и я должен был забросить тебе удочку с приманкою эффектности. Не осуждай меня за то, — ты сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости. Но теперь ты уже попалась в мои руки, и я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности, ты всегда будешь за двадцать страниц вперед видеть развязку каждого положения, а на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести: дело кончится весело, с бокалами, песнью; не будет ни эффектности, никаких прикрас. Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове.

Я сердит на тебя за то, что ты так зла к людям, а ведь люди — это ты: что же ты так зла к самой себе? Потому я и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе. С чего начать оказывание помощи? да хоть с того, о чем ты теперь думаешь: что это за писатель, так нагло говорящий со мною? — я скажу тебе, какой я писатель.

У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Поэтому я скажу тебе: если б я не предупредил тебя, тебе, пожалуй, показалось бы, что повесть написана художественно, что у автора много поэтического таланта. Но я предупредил тебя, что таланта у меня нет, — ты и будешь знать теперь, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью.

Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! В нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет.

Поблагодари же меня; ведь ты охотница кланяться тем, которые пренебрегают тобою, — поклонись же и мне.

Но есть в тебе, публика, некоторая доля людей, — теперь уже довольно значительная доля, — которых я уважаю. С тобою, с огромным большинством, я нагл, — но только с ним, и только с ним я говорил до

сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало, и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, — потому мне еще нужно и уже можно писать.

ЖИЗНЬ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
В РОДИТЕЛЬСКОМ СЕМЕЙСТВЕ

I

Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное. Жизнь ее до знакомства с медицинским студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное. А в поступках ее уже и тогда было кое-что особенное.

Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой, между Садовой и Семеновским мостом. Теперь этот дом отмечен каким ему следует номером, а в 1852 году, когда еще не было таких номеров, на нем была надпись: «дом действительного статского советника Ивана Захаровича Сторешникова». Так говорила надпись; но Иван Захарыч Сторешников умер еще в 1837 году, и с той поры хозяин дома был сын его, Михаил Иванович, — так говорили документы. Но жильцы дома знали, что Михаил Иванович — хозяйкин сын, а хозяйка дому — Анна Петровна.

Дом и тогда был, как теперь, большой, с двумя воротами и четырьмя подъездами по улице, с тремя дворами в глубину. На самой парадной из лестниц на улицу, в бельэтаже, жила в 1852 году, как и теперь живет, хозяйка с сыном. Анна Петровна и теперь осталась, как тогда была, дама видная. Михаил Иванович теперь видный офицер и тогда был видный и красивый офицер.

Кто теперь живет на самой грязной из бесчисленных черных лестниц первого двора, в 4-м этаже, в квартире

направо, я не знаю; а в 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Константиныч Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с женою Марьею Алексеевною, худощавою, крепкою, высокого роста дамою, с дочерью, взрослою девицею, — она-то и есть Вера Павловна, — и с 9-летним сыном Федею.

Павел Константиныч, кроме того, что управлял домом, служил помощником столоначальника в каком-то департаменте. По должности он не имел доходов; по дому — имел, но умеренные: другой получал бы гораздо больше, а Павел Константиныч, как сам говорил, знал совесть; зато хозяйка была очень довольна им, и в четырнадцать лет управления он скопил тысяч до десяти капиталу. Но из хозяйкина кармана было тут тысячи три, не больше; остальные выросли к ним от оборотов не в ущерб хозяйке: Павел Константиныч давал деньги под ручной залог.

У Марьи Алексеевны тоже был капиталец — тысяч пять, как она говорила кумушкам, — на самом деле побольше. Основание капиталу было положено лет 15 тому назад продажею енотовой шубы, платишки и мебелишки, доставшихся Марье Алексеевне после брата-чиновника. Выручив рублей полтора, она тоже пустила их в оборот под залоги, действовала гораздо рискованнее мужа и несколько раз попадалась на удочку; какой-то плут взял у нее 5 руб. под залог паспорта, — паспорт вышел краденый, и Марье Алексеевне пришлось приложить еще рублей 15, чтобы выпутаться из дела; другой мошенник заложил за 20 рублей золотые часы, — часы оказались снятыми с убитого, и Марье Алексеевне пришлось поплатиться порядком, чтобы выпутаться из дела. Но если она терпела потери, которых избегал муж, разборчивый в приеме залогов, зато и прибыль у нее шла быстрее. Подыскивались и особенные случаи по-

лучать деньги. Однажды, — Вера Павловна была еще тогда маленькая: при взрослой дочери Марья Алексевна не стала бы делать этого, а тогда почему было не сделать? ребенок ведь не понимает! и точно, сама Верочка не поняла бы, да, спасибо, кухарка растолковала очень вразумительно; да и кухарка не стала бы толковать, потому что дитяти этого знать не следует, но так уже случилось, что душа не стерпела после одной из сильных потасовок от Марьи Алексевны за гульбу с любовником (впрочем, глаз у Матрены был всегда подбитый, не от Марьи Алексевны, а от любовника, — а это и хорошо, потому что кухарка с подбитым глазом дешевле!). Так вот, однажды приехала к Марье Алексевне невиданная знакомая дама, нарядная, пышная, красивая, приехала и осталась погостить. Неделю гостила смирно, только все ездил к ней какой-то статский, тоже красивый, и дарил Верочке конфеты, и надарил ей хороших кукол, и подарил две книжки, обе с картинками; в одной книжке были хорошие картинки — звери, города; а другую книжку Марья Алексевна отняла у Верочки, как уехал гость, так что только раз она и видела эти картинки, при нем: он сам показывал. Так с неделю гостила знакомая, и все было тихо в доме: Марья Алексевна всю неделю не подходила к шкапчику (где стоял графин с водкой), ключ от которого никому не давала, и не била Матрену, и не била Верочку, и не ругалась громко. Потом одну ночь Верочку беспрестанно будили страшные вскрикивания гостьи и ходьба и суетня в доме. Утром Марья Алексевна подошла к шкапчику и дольше обыкновенного стояла у него, и все говорила: «слава богу, счастливо было, слава богу!», даже позвала к шкапчику Матрену и сказала: «на здоровье, Матренушка, ведь и ты много потрудились», и после не то чтобы драться да ругаться, как бывало в другие

времена после шкапчика, а легла спать, поцеловавши Верочку. Потом опять неделю было смирно в доме, и гостья не кричала, а только не выходила из комнаты и потом уехала. А через два дня после того, как она уехала, приходил статский, только уже другой статский, и приводил с собою полицию, и много ругал Марью Алексевну; но Марья Алексевна сама ни в одном слове не уступала ему и все твердила: «я никаких ваших делов не знаю. Справьтесь по домовым книгам, кто у меня гостил! псковская купчиха Савастьянова, моя знакомая, вот вам и весь сказ!» Наконец, поругавшись, поругавшись, статский ушел и больше не показывался. Это видела Верочка, когда ей было восемь лет, а когда ей было девять лет, Матрена ей растолковала, какой это был случай. Впрочем, такой случай только один и был; а другие бывали разные, но не так много.

Когда Верочке было десять лет, девочка, шедшая с матерью на Толкучий рынок, получила при повороте из Гороховой в Садовую неожиданный подзатыльник, с замечанием: «глазеешь на церковь, дура, а лба-то что не перекрестишь? Чать, видишь, все добрые люди крестятся!»

Когда Верочке было двенадцать лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепьянный учитель, — пьяный, но очень добрый немец и очень хороший учитель, но, по своему пьянству, очень дешевый.

Когда ей был четырнадцатый год, она обшивала всю семью, впрочем ведь и семья-то была невелика.

Когда Верочке подошел шестнадцатый год, мать стала кричать на нее так: «отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю, в кого». Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть не в лохмотьях,

а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь да думает: «к другой шли бы эти наряды, а на меня что ни надень, все цыганка — чучело, как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою!»

Когда Верочке исполнилось шестнадцать лет, она перестала учиться у фортепьянного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе; потом мать нашла ей и другие уроки.

Через полгода мать перестала называть Верочку цыганкою и чучелою, а стала наряжать лучше прежнего, а Матрена, — это уж была третья Матрена, после той: у той был всегда подбит левый глаз, а у этой разбита левая скула, но не всегда, — сказала Верочке, что собирается сватать ее начальник Павла Константиныча, и какой-то важный начальник, с орденом на шее. Действительно, мелкие чиновники в департаменте говорили, что начальник отделения, у которого служит Павел Константиныч, стал благосклонен к нему, а начальник отделения между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену хоть бесприданницу, но красавицу, и еще такое мнение, что Павел Константиныч хороший чиновник.

Чем бы это кончилось, неизвестно; но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай.

Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиныча взять образцы разных обоев, потому что матушка хочет заново отделывать квартиру, в которой живет. А прежде подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное и не для таких бывалых людей, как Марья Алексевна с мужем. Хозяйкин сын, зашедши, просидел

больше полчасу и удостоил выкушать чаю (цветочного). Марья Алексевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери два новых платья, очень хороших — одна материя стоила: на одно платье 40 руб., на другое 52 руб., а с оборками, да лентами, да фасоном оба платья обошлись 174 руб.; по крайней мере, так сказала Марья Алексевна мужу, а Верочка знала, что всех денег вышло на них меньше 100 руб., — ведь покупки тоже делались при ней, — но ведь и на 100 руб. можно сделать два очень хорошие платья. Верочка радовалась платьям, радовалась фермуару, но больше всего радовалась тому, что мать наконец согласилась покупать ботинки ей у Королёва: ведь на Толкучем рынке ботинки такие безобразные, а королёвские так удивительно сидят на ноге.

Платья не пропали даром: хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющей, которые, тоже разумеется, носили его на руках. Ну, и мать делала наставления дочери, всё как следует, — этого нечего и описывать, дело известное.

Однажды, после обеда, мать сказала:

— Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила суприз — поедем в оперу, я во втором ярусе взяла билет, где всё генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то от расходов на тебя уж все животы подвело. В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортепьянщику-то сколько! Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная, нет, видно, души-то в тебе, бесчувственная ты этакая!

Только и сказала Марья Алексевна, больше не бранила дочь, а это какая же брань? Марья Алексевна только вот уж так и говорила с Верочкою, а браниться на

нее давно перестала, и бить ни разу не была с той поры, как прошел слух про начальника отделения.

Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын, и с ним двое приятелей, — один статский, сухощавый и очень изящный, другой военный, полный и попроще. Сели и уселись, и много шептались между собою, все больше хозяйкин сын со статским, а военный говорил мало. Марья Алексевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили всё по-французски. Слов пяток из их разговора она знала: *belle, charmante, amour, bonheur*¹, — да что толку в этих словах? *Belle, charmante*, — Марья Алексевна и так уже давно слышит, что ее цыганка *belle* и *charmante*; *amour* — Марья Алексевна и сама видит, что он по уши врюхался в *amour*; а коли *amour*, то уж, разумеется, и *bonheur*, — что толку от этих слов? Но только что же, сватать-то скоро ли будет?

— Верочка, ты неблагодарная, как есть неблагодарная, — шепчет Марья Алексевна дочери, — что рыло-то воротишь от них? Обидели они тебя, что вошли? Честь тебе, дуре, делают. А свадьба-то по-французски — ма-рьяж, что ли, Верочка? А как жених с невестою, а венчаться как по-французски?

Верочка сказала.

— Нет, таких слов что-то не слышно... Вера, да ты мне, видно, слова-то не так сказала? Смотри у меня!

— Нет, так; только этих слов вы от них не услышите. Поедьте, я не могу оставаться здесь дольше.

— Что? что ты сказала, мерзавка? — глаза у Марьи Алексевны налились кровью.

— Поедьте. Делайте потом со мною, что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после, почему. — Ма-

¹ Красивая, прелестная, любовь, счастье (*фр.*)

менька, — это уж было сказано вслух, — у меня очень разболелась голова. Я не могу сидеть здесь. Прошу вас!

Верочка встала.

Кавалеры засуетились.

— Это пройдет, Верочка, — строго, но чинно сказала Марья Алексевна, — походи по коридору с Михаилом Иванычем, и пройдет голова.

— Нет, не пройдет, я чувствую себя очень дурно. Скорее, маменька.

Кавалеры отворили дверь, хотели вести Верочку под руки, — отказалась, мерзкая девчонка! Сами подали салопы, сами пошли сажать в карету. Марья Алексевна гордо посматривала на лакеев: «Глядите, хамы, каковы кавалеры, — а вот этот моим зятем будет! Сама таких хамов заведу. А ты у меня ломайся, ломайся, мерзавка, — я те поломаю!» — Но стой, стой, что-то говорит зятек ее скверной девчонке, сажая мерзкую гордючку в карету? *Santé* — это, кажется, здоровье, *savoir* — узнаю, *visite* — и по-нашему то же, *permettez* — прошу позволения. Не уменьшилась злоба Марьи Алексевны от этих слов; но надо принять их в соображение. Карета двинулась.

— Что он тебе сказал, когда сажал?

— Он сказал, что завтра поутру зайдет узнать о моем здоровье.

— Не врешь, что завтра?

Верочка молчала.

— Счастлив твой бог! — однако не утерпела Марья Алексевна, рванула дочь за волосы — только раз, и то слегка. — Ну, пальцем не трону, только завтра чтоб была весела! Ночь спи, дура! Не вздумай плакать. Смотри, если увижу завтра, что бледна или глаза заплаканы! Спускала до сих пор... не спущу. Не пожалею

смазливой-то рожи, уж заодно пропадать будет, так хоть дам себя знать!

— Я уж давно перестала плакать, вы знаете.

— То-то же, да будь с ним поразговорчивее.

— Да, я завтра буду с ним говорить.

— То-то, пора за ум взяться. Побойся бога да пожалей мать, страмница!

Прошло минут десять.

— Верочка, ты на меня не сердись. Я из любви к тебе бранюсь, тебе же добра хочу. Ты не знаешь, каковы дети милы матерям. Девять месяцев тебя в утробе носила! Верочка, отблагодари, будь послушна, сама увидишь, что к твоей пользе. Веди себя, как я учу, — завтра же предложенье сделает!

— Маменька, вы ошибаетесь. Он вовсе не думает делать предложения. Маменька! что они говорили!

— Знаю; коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. Мы его в бараний рог согнем. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг наложу обведу, да еще рад будет. Ну, да нечего с тобой много говорить, и так лишнее наговорила: девушкам не следует этого знать, это материно дело. А девушка должна слушаться, она еще ничего не понимает. Так будешь с ним говорить, как я тебе велю?

— Да, буду с ним говорить.

— А вы, Павел Константиныч, что сидите, как пень? Скажите и вы от себя, что и вы как отец ей приказываете слушаться матери, что мать не станет учить ее дурному.

— Марья Алексевна, ты умная женщина, только дело-то опасное: не слишком ли круто хочешь вести!

— Дурак! вот брякнул, — при Верочке-то! Не рада, что и расшевелила! правду пословица говорит: не тронь

дерма, не воняет! Эко бухнул! Ты не рассуждай, а скажи: должна дочь слушаться матери?

— Конечно, должна; что говорить, Марья Алексевна!

— Ну, так и приказывай как отец.

— Верочка, слушайся во всем матери. Твоя мать умная женщина, опытная женщина. Она не станет тебя учить дурному. Я тебе как отец приказываю.

Карета остановилась у ворот.

— Довольно, маменька. Я вам сказала, что буду говорить с ним. Я очень устала. Мне надобно отдохнуть.

— Ложись, спи. Не потревожу. Это нужно к завтраму. Хорошенько выпись.

Действительно, все время, как они всходили по лестнице, Марья Алексевна молчала, — а чего ей это стоило! и опять, чего ей стоило, когда Верочка пошла прямо в свою комнату, сказавши, что не хочет пить чаю, чего стоило Марье Алексевне ласковым голосом сказать:

— Верочка, подойди ко мне! — Дочь подошла. — Хочу тебя благословить на сон грядущий, Верочка. Нагни головку! — Дочь нагнулась. — Бог тебя благословит, Верочка, как я тебя благословляю.

Она три раза благословила дочь и подала ей поцеловать свою руку.

— Нет, маменька. Я уж давно сказала вам, что не буду целовать вашей руки. А теперь отпустите меня. Я в самом деле чувствую себя дурно.

Ах, как было опять вспыхнули глаза Марьи Алексевны. Но пересилила себя и кротко сказала:

— Ступай, отдохни.

Едва Верочка разделась и убрала платье, — впрочем, на это ушло много времени, потому что она все задумывалась: сняла браслет и долго сидела с ним в руке, вынула серьгу — и опять забылась, и много времени прошло, пока она вспомнила, что ведь она страшно

устала, что ведь она даже не могла стоять перед зеркалом, а опустилась в изнеможении на стул, как добрела до своей комнаты, что надобно же поскорее раздеться и лечь, — едва Верочка легла в постель, в комнату вошла Марья Алексевна с подносом, на котором была большая отцовская чашка и лежала целая груда сухарей.

— Кушай, Верочка! Вот, кушай на здоровье! Сама тебе принесла: видишь, мать помнит о тебе! Сижу, да и думаю: как же это Верочка легла спать без чаю? сама пью, а сама все думаю. Вот и принесла. Кушай, моя дочка милая!

Странен показался Верочке голос матери: он в самом деле был мягок и добр, — этого никогда не бывало. Она с недоумением посмотрела на мать. Щеки Марьи Алексевны пылали, и глаза несколько блуждали.

— Кушай, я посижу, посмотрю на тебя. Выкушаешь, принесу другую чашку.

Чай, наполовину налитый густыми, вкусными сливками, разбудил аппетит. Верочка приподнялась на локоть и стала пить. — «Как вкусен чай, когда он свежий, густой и когда в нем много сахара и сливок! Чрезвычайно вкусен! Вовсе не похож на тот спитой, с одним кусочком сахара, который даже противен. Когда у меня будут свои деньги, я буду пить такой чай, как этот».

— Благодарю вас, маменька.

— Не спи, принесу другую. — Она вернулась с другою чашкою такого же прекрасного чаю. — Кушай, а я опять посижу.

С минуту она молчала, потом вдруг заговорила как-то особенно, то самую быстрою скороговоркою, то растягивая слова.

— Вот, Верочка, ты меня поблагодарила. Давно я не слышала от тебя благодарности. Ты думаешь, я злая. Да, я злая, только нельзя не быть злой! А слаба я

стала, Верочка! от трех пуншей ослабела, а какие еще мои лета! Да и ты меня расстроила, Верочка, — очень огорчила! Я и ослабела. А тяжелая моя жизнь, Верочка. Я не хочу, чтобы ты так жила. Богато живи. Я сколько мученья приняла, Верочка, и-и-и, и-и-и, сколько! Ты не помнишь, как мы с твоим отцом жили, когда он еще не был управляющим! Бедно, и-и-и, как бедно жили, — а я тогда была честная, Верочка! Теперь я не честная, — нет, не возьму греха на душу, не солгу перед тобою, не скажу, что я теперь честная! Где уж, — то время давно прошло. Ты, Верочка, ученая, а я неученая, да я знаю все, что у вас в книгах написано; там и то написано, что не надо так делать, как со мною сделали. «Ты, говорят, нечестная!» Вот и отец твой, — тебе-то он отец, это Наденьке не он был отец, — голый дурак, а тоже колет мне глаза, надругается! Ну, меня и взяла злость: а когда, говорю, по-вашему, я не честная, так я и буду такая! Наденька родилась. Ну, так что ж, что родилась? Меня этому кто научил? Кто должность-то получил? Тут моего греха меньше было, чем его. А они у меня ее отняли, в воспитательный дом отдали, — и узнать-то было нельзя, где она, — так и не видала ее и не знаю, жива ли она... чать, уж где быть в живых! Ну, в теперешнюю пору мне бы мало горя, а тогда не так легко было, — меня пуще злость взяла! Ну и стала злая. Тогда и пошло все хорошо. Твоему отцу, дураку, должность доставил кто? — я доставила. А в управляющие кто его произвел? — я произвела. Вот и стали жить хорошо. А почему? — потому, что я стала нечестная да злая. Это, я знаю, у вас в книгах написано, Верочка, что только нечестным да злым и хорошо жить на свете. А это правда, Верочка! Вот теперь и у отца твоего деньги есть, — я предоставила; и у меня есть, может, и побольше, чем у него, — все сама достала, на

старость кусок хлеба приготовила. И отец твой, дурак, меня уважать стал, по струнке стал у меня ходить, я его вышколила! А то гнал меня, надругался надо мною. А за что? Тогда было не за что, — а за то, Верочка, что не была злая. А у вас в книгах, Верочка, написано, что не годится так жить, — а ты думаешь, я этого не знаю? Да в книгах-то у вас написано, что коли не так жить, так надо все по-новому завести, а по нынешнему заведению нельзя так жить, как они велят, — так что ж они по новому-то порядку не заводят? Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие у вас в книгах новые порядки расписаны? — знаю: хорошие. Только мы с тобой до них не доживем, больно глуп народ — где с таким народом хорошие-то порядки завести! Так станем жить по старым. И ты по ним живи. А старый порядок какой? У вас в книгах написано: старый порядок тот, чтобы обирать да обманывать. А это правда, Верочка. Значит, нового-то порядку нет, по старому и живи: обирай да обманывай; по любви тебе говор — хр-р...

Марья Алексевна захрапела и повалилась.

II

Марья Алексевна знала, что говорилось в театре, но еще не знала, что выходило из этого разговора.

В то время как она, расстроенная огорчением от дочери и в расстройстве налившая много рому в свой пунш, уже давно храпела, Михаил Иванович Сторешников ужинал в каком-то моднейшем ресторане с другими кавалерами, приходившими в ложу. В компании было еще четвертое лицо — француженка, приехавшая с офицером. Ужин приближался к концу.

— Мсьё Сторешник! — Сторешников возликовал: француженка обращалась к нему в третий раз во время

ужина, — мсьё Сторешник! вы позволите мне так называть вас, это приятнее звучит и легче выговаривается, — я не думала, что я буду одна дама в вашем обществе; я надеялась увидеть здесь Адель, — это было бы приятно, я ее так редко вижу.

— Адель поссорилась со мною, к несчастью.

Офицер хотел сказать что-то, но промолчал.

— Не верьте ему, m-lle Жюли, — сказал статский, — он боится открыть вам истину, думает, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он бросил француженку для русской.

— Я не знаю, зачем и мы-то сюда поехали! — сказал офицер.

— Нет, Серж, отчего же, когда Жан просил! и мне было очень приятно познакомиться с мсьё Сторешником. Но, мсьё Сторешник, фи, какой у вас дурной вкус! Я бы ничего не имела возразить, если бы вы покинули Адель для этой грузинки, в ложе которой были с ними обеими; но променять француженку на русскую... воображаю! бесцветные глаза, бесцветные жиденькие волосы, бессмысленное, бесцветное лицо... виновата, не бесцветное, а, как вы говорите, кровь со сливками, то есть кушанье, которое могут брать в рот только ваши эскимосы! Жан, подайте пепельницу грешнику против граций, пусть он посыплет пеплом свою преступную голову!

— Ты наговорила столько вздора, Жюли, что не ему, а тебе надобно посыпать пеплом голову, — сказал офицер, — ведь та, которую ты назвала грузинкою, — это она и есть русская-то.

— Ты смеешься надо мною?

— Чистейшая русская, — сказал офицер.

— Невозможно!

— Ты напрасно думаешь, милая Жюли, что в нашей нации один тип красоты, как в вашей. Да и у вас много блондинок. А мы, Жюли, смесь племен, от бело-волосых, как финны («Да, да, финны», — заметила для себя француженка), до черных, гораздо чернее итальянцев, — это татары, монголы («Да, монголы, знаю», — заметила для себя француженка), — они все дали много своей крови в нашу! У нас блондинки, которых ты ненавидишь, только один из местных типов, — самый распространенный, но не господствующий.

— Это удивительно! но она великолепна! Почему она не поступит на сцену? Впрочем, господа, я говорю только о том, что я видела. Остается вопрос, очень важный: ее нога? Ваш великий поэт Карасен, говорили мне, сказал, что в целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног.

— Жюли, это сказал не Карасен, — и лучше зови его: Карамзин, — Карамзин был историк, да и то не русский, а татарский, — вот тебе новое доказательство разнообразия наших типов. О ножках сказал Пушкин, — его стихи были хороши для своего времени, но теперь потеряли большую часть своей цены. Кстати, эскимосы живут в Америке, а наши дикари, которые пьют оленью кровь, называются самоеды.

— Благодарю, Серж. Карамзин — историк; Пушкин — знаю; эскимосы в Америке; русские — самоеды; да, самоеды, — но это звучит очень мило, са-мо-е-ды! Теперь буду помнить. Я, господа, велю Сержу все это говорить мне, когда мы одни, или не в нашем обществе. Это очень полезно для разговора. Притом науки — моя страсть; я родилась быть m-me Сталь, господа. Но это посторонний эпизод. Возвращаемся к вопросу: ее нога?

— Если вы позволите мне завтра явиться к вам, m-me Жюли, я буду иметь честь привезти к вам ее башмак.

— Привозите, я примерю. Это затрогивает мое любопытство.

Сторешников был в восторге: как же? — он едва цеплялся за хвост Жана, Жан едва цеплялся за хвост Сержа, Жюли — одна из первых француженок между француженками общества Сержа, — честь, великая честь!

— Нога удовлетворительна, — подтвердил Жан, — но я как человек положительный интересуюсь более существенным. Я рассматривал ее бюст.

— Бюст очень хорош, — сказал Сторешников, ободрившийся выгодными отзывами о предмете его вкуса и уже замысливший, что может говорить комплименты Жюли, чего до сих пор не смел, — ее бюст очарователен, хотя, конечно, хвалить бюст другой женщины здесь — святотатство.

— Ха, ха, ха! Этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту! Я не ипокритка и не обманщица, мсьё Сторешник: я не хвалюсь и не терплю, чтобы другие хвалили меня за то, что у меня плохо. Слава богу, у меня еще довольно осталось, чем я могу хвалиться по правде. Но мой бюст — ха, ха, ха! Жан, вы видели мой бюст — скажите ему! Вы молчите, Жан? Вашу руку, мсьё Сторешник, — она схватила его за руку, — чувствуете, что это не тело? Попробуйте еще здесь, — и здесь, — теперь знаете? Я ношу накладной бюст, как ношу платье, юбку, рубашку, не потому, чтоб это мне нравилось, — по-моему, было бы лучше без этих ипокритств, — а потому, что это так принято в обществе. Но женщина, которая столько жила, как я, — и как жила, мсьё Сторешник! я теперь святая, схимница перед тем, что была, — такая женщина не может сохранить бюста! — И вдруг она заплакала: — Мой бюст! мой бюст! моя чистота! о, боже, затем ли я родилась?

— Вы лжете, господа, — закричала она, вскочила и ударила кулаком по столу, — вы клевете! Вы низкие люди! она не любовница его! он хочет купить ее! Я видела, как она отворачивалась от него, горела негодованьем и ненавистью. Это гнусно!

— Да, — сказал статский, лениво потягиваясь, — ты прихвастнул, Сторешников; у вас дело еще не кончено, а ты уж наговорил, что живешь с нею, даже разошелся с Аделью для лучшего заверения нас. Да, ты описывал нам очень хорошо, но описывал то, чего еще не видал; впрочем, это ничего: не за неделю до нынешнего дня, так через неделю после нынешнего дня, — это все равно. И ты не разочаруешься в описаниях, которые делал по воображению; найдешь даже лучше, чем думаешь. Я рассматривал: останешься доволен.

Сторешников был вне себя от ярости:

— Нет, m-lle Жюли, вы обманулись, смею вас уверить, в вашем заключении; простите, что осмеливаюсь противоречить вам, но она — моя любовница. Это была обыкновенная любовная ссора от ревности; она видела, что я первый акт сидел в ложе m-lle Матильды, — только и всего!

— Врешь, мой милый, врешь, — сказал Жан и зевнул.

— А не вру, не вру.

— Докажи. Я человек положительный и без доказательств не верю.

— Какие же доказательства я могу тебе представить?

— Ну вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти? Да вот тебе: завтра мы собираемся ужинать опять здесь.

М-лe Жюли будет так добра, что привезет Сержа, я привезу свою миленькую Бертю, ты привезешь ее. Если привезешь — я проиграл, ужин на мой счет; не при-

везешь — изгоняешься со стыдом из нашего круга! — Жан дернул сонетку; вошел слуга. — Simon, будьте так добры: завтра ужин на шесть персон, точно такой, как был, когда я венчался у вас с Бертою, — помните, пред Рождеством? — и в той же комнате.

— Как не помнить такого ужина, мсьё! Будет исполнено.

Слуга вышел.

— Гнусные люди! гадкие люди! я была два года уличною женщиною в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, я и там не встречала троих таких низких людей вместе! Боже мой, с кем я принуждена жить в обществе! За что такой позор мне, о боже? — Она упала на колени. — Боже! я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой. Холод был так силен, обольщения так хитры! Я хотела жить, я хотела любить, — боже! ведь это не грех, — за что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга, вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличною женщиною в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, я не достойна ничего другого, но освободи меня от этих людей, от этих гнусных людей! — Она вскочила и подбежала к офицеру. — Серж, и ты такой же? Нет, ты лучше их! («Лучше», — флегматически заметил офицер.) Разве это не гнусно?

— Гнусно, Жюли.

— И ты молчишь? допускаешь? соглашаешься? участвуешь?

— Садись ко мне на колени, моя милая Жюли. — Он стал ласкать ее, она успокоилась. — Как я люблю тебя в такие минуты! Ты славная женщина. Ну, что ты не соглашаешься повенчаться со мною? сколько раз я просил тебя об этом! Согласись.

— Брак? ярмо? предрассудок? Никогда! я запретила тебе говорить мне такие глупости. Не серди меня. Но... Серж, милый Серж! запрети ему! он тебя боится, — спаси ее!

— Жюли, будь хладнокровнее. Это невозможно. Не он, так другой, все равно. Да вот, посмотри, Жан уже думает отбить ее у него, а таких Жанов тысячи, ты знаешь. От всех не убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы, русские. Мы умный народ, Жюли. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип.

— Никогда! Ты раб, француженка свободна. Француженка борется, — она падает, но она борется! Я не допущу! Кто она? Где она живет? Ты знаешь?

— Знаю.

— Едем к ней. Я предупрежу ее.

— В первом-то часу ночи? Поедем-ко лучше спать. До свиданья, Жан. До свиданья, Сторешников. Разумеется, вы не будете ждать Жюли и меня на ваш завтрашний ужин: вы видите, как она раздражена. Да и мне, сказать по правде, эта история не нравится. Конечно, вам нет дела до моего мнения. До свиданья.

— Экая бешеная француженка, — сказал статский, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли. — Очень пикантная женщина, но это уж чересчур. Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует, но с нею я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года. Конечно, Сторешников, наш ужин не расстраивается от ее каприза. Я привезу Поля с Матильдою вместо них. А теперь пора по домам. Мне еще нужно заехать к Берте и потом к маленькой Лотхен, которая очень мила.